

Серия «Время для счастья»

Истории женщин, которые не собирались влюбиться

ВИВЬЕН
НУАР



ДОМ, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЖДАЛ

История Найды и Татьяны



Вивьен Нуар

Дом, который меня ждал

<https://litres.ru/74346037>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сто сорок тысяч, которые она копила на собственные похороны, ушли за операцию чужой собаке. Всё, до копейки.

Сын кричит, что она сошла с ума. Хозяин собаки приходит с участковым. Соседи пишут жалобы. А Татьяна Сергеевна — бухгалтер, которая тридцать шесть лет не ошибалась ни на рубль, — впервые делает то, что не сходится ни в одном балансе.

Отступить можно в любой момент: назад в город, в проходную комнату со шкафом поперёк. Все ждут от неё одного слова — того, которое она тридцать лет говорила не считая.

На этот раз она посчитала.

«Хорошо» стоит всей её жизни. «Нет» выходит дешевле.

Содержание

Глава 1. Кастрюля	4
Глава 2. Яблоки	7
Глава 3. Ножницы	13
Глава 4. Шарф	20
Глава 5. Стол	27
Глава 6. Карточка	34
Глава 7. Одеяло	40
Глава 8. Крошки	46
Глава 9. Лампа	53
Глава 10. Объявление	60
Глава 11. Среда	66
Глава 12. Поводок	73
Глава 13. Папка	80
Глава 14. Снимок	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Вивьен Нуар

Дом, который меня ждал

Глава 1. Кастрюля

Автобус трогается, я ещё не села. Кастрюлю держу обеими руками, за поручень цепляюсь локтем.

Борщ едет через полгорода, к Максиму: «мам, ты же всё равно едешь». Вообще-то я не ехала. Но теперь еду.

Мне пятьдесят девять. Кастрюля весит четыре килограмма. В сумке на плече ещё сметана и сироп от кашля для Ильи; название я переписала с коробки на бумажку, буква в букву, а то в аптеке дадут похожее.

Женщина у окна подвигается, я сажусь и ставлю кастрюлю на колени. Октябрь, перчатки остались дома на комод, и я грею ладони о крышку. На левой, с внешней стороны, старый ожог, гладкий; тепла он не чувствует. Борщ я сняла с плиты в пять, всё рассчитано: к семи он у них, к половине восьмого разогрет.

Напротив девочка лет двадцати везёт торт. Держит коробку на вытянутых руках и смотрит поверх неё в окно. Коробку ей, судя по рукам, доверили первый раз. У меня кастрюли ездят на коленях. Тридцать шесть лет.

В кармане пальто звонит телефон. Замолкает. Звонит

опять. Так звонит Максим: короткими очередями, пока не возьмут. Взять я не могу, рук у меня две, и обе заняты его ужином.

На мосту, где автобус стоит всегда, я перехватываю кастрюлю одной рукой и достаю телефон. Три пропущенных. И сообщение:

«Мам, ты скоро?»

Опаздываю я на пятнадцать минут. Автобус тут ни при чём, виновата аптека: очередь, две кассы, работала одна. Пока мы ползём с моста, я собираю из этого объяснение. Спрашивать меня никто не будет. Я это знаю и всё-таки дошлифовываю про кассы.

От остановки до их подъезда двести метров. Дверь открываю плечом. Оно у меня натренировано лучше всего остального.

Максим открывает с телефоном у уха, кивает мне вглубь квартиры и одними губами говорит: привет. Кастрюлю забирает из рук, не глядя, и несёт на кухню сам. Помнит, что тяжёлая. В трубке у него что-то срочное, со склада.

В кухне Ирина уже снимает с моей кастрюли крышку.

— Ой, ну зачем, Татьяна Сергеевна. У нас же всё есть.

— Есть, — говорю я. — Сметаны нет. Я привезла.

На плите у них правда стоит суп, маленькая кастрюлька на два раза. Ирина отодвигает её вглубь, к стенке.

Из комнаты выглядывает Илья, машет мне и исчезает: у него там мультики.

Так. Сироп на полку, сметану в холодильник, борщ пере-
ливаю в их кастрюлю, широкую, с отбитой ручкой. Я знаю в
этой кухне каждую полку: сама расставляла, когда они въе-
хали, и с тех пор здесь ничего не сдвинули с места, только
мою тёрку убрали в дальний ящик, к тому, чем не пользуют-
ся. Свою кастрюлю мою и вытираю. Потом вытираю ещё раз,
полотенце всё равно уже в руках. Она у меня одна такая, с
толстым дном, холодец на Новый год я варю только в ней.
Убираю в сумку.

Ирина наливает мне чаю. Выпиваю его стоя, между пли-
той и холодильником: так быстрее.

Максим заканчивает со складом, спрашивает, как я дое-
хала, и открывает холодильник раньше, чем я отвечаю. Дое-
хала я нормально.

— Мам, у тебя документы на квартиру где лежат? — го-
ворит он в холодильник.

— В комоде, в синей папке. А зачем тебе?

— Выписку заказать. Ну, для банка, формальность. — Он
закрывает дверцу и хлопает себя по карманам, хотя ключи
его лежат тут же, у хлебницы. — Мам, и доверенность твоя
ещё действует? Я сам схожу, не бегай.

Выписку заказывают без всякой доверенности. Я схожу
бумаги трёх ТСЖ и знаю это лучше него.

— Хорошо, — говорю я.

Я говорю «хорошо» примерно двести раз в неделю. Ни
одного из них никто не считал.

Глава 2. Яблоки

Цифра не сходится.

Я вижу это на второй странице презентации, на четвёртой минуте планёрки. По трём нашим домам у Данилы выходит ровно, рубль в рубль. Вот это «ровно» мне и не нравится: живой дом никогда не выходит ровно. Живой дом всегда должен кому-то копейки.

Отчёт за третий квартал мы сдаём в пятницу. Свою его я. Рассказывает о нём теперь Данила.

Он стоит у экрана с лазерной указкой. Нас в комнате трое. Данила у нас полгода, зарплату нам платит не он, но планёрки теперь его. Смету квартала он оптимизировал: слил «текущий ремонт» и «благоустройство» в одну строку «инфраструктура», и в этой строке у него всё сходится. Слайды красивые. Цифры стоят в них, как сервиз в серванте: парадные, и никто их не трогал.

— Смотрите, коллеги. Если брать цифры в динамике, по всем трём объектам у нас синергия.

По диаграмме плывут голубые сектора. Дом на Куйбышева, где с августа разрыт двор, выглядит в них лучше всех.

Данила говорит «синергия». Я жду слова «смета». Он до него не доходит.

— Вопросы? Вопросы — это классно, — говорит он.

— В седьмой строке расхождение, — говорю я. — Четыре

тысячи восемьсот двенадцать.

Данила снимает точку указки со слайда, ведёт её в мою сторону и гасит.

— Татьяна Сергеевна, мы ушли от постатейного учёта. Это старая методика.

— По банку не сходится. Банк у нас постатейный.

— Окей, я посмотрю, — говорит он и листает дальше.

Смотреть он не будет. Меня это уже не очень задевает. Раньше задевало.

Вика, стажёрка, смотрит на меня, потом на него. Ей ещё интересно, кто из нас прав: она думает, это должно выясниться.

Под конец Данила раздаёт домашнее задание: до пятницы подумать, чего каждый из нас хочет от четвёртого квартала. Вика записывает вопрос в тетрадь дословно. Я не записываю. Про кварталы я знаю всё.

Уйти я сегодня собиралась в пять, как написано у меня в договоре. Дел на вечер никаких. Захотелось попробовать: один раз встать и уйти вовремя.

В половине пятого я открываю оборотку по второму дому и иду искать свои четыре восемьсот двенадцать. Сначала начисления: там чисто. Потом подрядчики, июль, август, сентябрь, акт за актом против выписки. Расхождение на такую сумму почти всегда значит одно: что-то заплатили дважды.

Нахожу за двадцать минут. Акт от четырнадцатого июля, подрядчик «Тепловик», промывка системы отопления, че-

тыре тысячи восемьсот двенадцать рублей. Проведён в июле. И проведён ещё раз, тем же числом, три недели назад: Вике отдали разнести первичку за квартал, чтобы к отчёту у Данилы всё лежало в базе.

Вика сидит через стол от меня. Печатает быстрее всех в конторе, вслепую, двумя руками. Когда мимо проходит Данила, вынимает из уха наушник и потом долго не решается вставить обратно. Ей двадцать. В свой первый день она спросила у меня, где здесь моют кружки, и с тех пор мы разговаривали два раза: про кружку и про дырокол.

Если завтра я покажу расхождение вслух, Данила пойдёт искать виноватого и найдёт быстро. У Вики испытательный срок до ноября.

В пять она собирает сумку и по дороге останавливается у моего стола.

— До свидания, Татьяна Сергеевна. Здорово, что отчёт сошёлся, да? Данила сказал, по всем домам ровно.

Ей всерьёз нравится, что ровно. Три недели в конторе, а уже болеет за баланс.

— Хорошо, — говорю я.

Пальто у меня уже на коленях. Я вешаю его обратно на спинку стула.

Она уходит. Я остаюсь. Автобус у меня всё равно в шесть двадцать. Контора пустеет за полчаса; последним, ни с кем не прощаясь, уходит Данила.

Я сторнирую лишнюю проводку, подкалываю акт на ме-

сто, свожу июль, потом август, потом весь квартал по всем трём домам подряд, и посреди этой чужой, никому не видной работы мне становится так спокойно, как не было всю неделю, и я ловлю себя на том, что тяну время: выравниваю то, что можно не выравнивать, проверяю то, что уже сошлось.

Теперь у Данилы всё сходится по-настоящему. Он будет уверен, что так и было. Вика не узнает никогда. Ошибки нет, и меня в этой истории тоже нет: я вычистила её вместе с собой.

Мне хорошо. Вот что стыдно.

Ухожу без двадцати шесть. По дороге к остановке составляю объяснение: задержалась по работе, квартальный отчёт. Спрашивать никто не будет. Я всё равно довожу его до остановки.

Дома переодеваюсь и ставлю чайник. Сообщений нет. Значит, сироп помогает и кашель у Ильи тише.

В восьмом часу в дверь звонят: два коротких, с паузой. Так звонит Галина. Мы дружим тридцать лет, с тех пор как сидели через стол в жилконторе. Пятый этаж она взяла с двумя пакетами и теперь дышит через слово, но пакеты не отдаёт: доносит до кухни сама.

— Ты ела?

— Ела.

— Что?

Я вспоминаю на секунду дольше, чем следует.

— Понятно, — говорит Галина и ставит греть то, что у

неё в верхнем контейнере. В контейнере котлеты и две картофелины. Верхний контейнер у неё всегда для меня; что в нижних, я не спрашиваю.

Яблоки она высыпает в мою большую миску. Их много, штук двадцать, мелкие, с бочками. Пахнут лучше, чем выглядят. Одно, с целым боком, Галина обтирает рукавом и кладёт мне под руку.

— По акции. Взяла две сетки, больше в руки не давали.

— Куда мне столько?

— Компот, — говорит она, и вопрос закрыт.

Достаю к чаю сушки. Галина к ним не притронется, но с сушками стол считается накрытым.

Новости у неё за неделю такие: у внука лезет зуб, у зятя стучит в машине что-то дорогое. Всё как у людей. Себя в этих новостях у неё нет ни одной строкой.

Потом она спрашивает про моё, и я рассказываю про отчёт. Про акт, который погулял по базе дважды. Про Вику с её наушником.

— И никто, значит, не узнал.

— Никто.

— И спасибо тебе никто не скажет.

— За что? Ошибки же нет.

— Вот я и говорю. — Галина подливает себе. — Девчонке повезло, пусть работает. А тебя кто так прикроет?

— Меня не надо прикрывать. Я не ошибаюсь.

— Вот это и страшно, Тань.

Я мою свою чашку и ставлю на сушилку. Потом вытираю стол. Стол сухой.

— Нас сегодня спросили, чего мы хотим, — говорю я. — Данила. До пятницы каждый должен подумать, чего он хочет от четвёртого квартала.

— Чего хотите вы или чего хочет квартал?

— Он не уточнял.

Галина хмыкает и отставляет чашку.

— А ты что скажешь?

— Пока ничего. — Я складываю полотенце. Потом разворачиваю и складываю ещё раз, по другой линии. — Про любой из наших домов я тебе до рубля скажу, чего он хочет. Крыша, опрессовка, стояк в третьем подъезде, двор на Куйбышева. А про себя...

— Тань, ну какие желания. Нам с тобой по пятьдесят девять, — говорит Галина и берёт себе самое мягкое яблоко. — Желания — это к молодым. У них ещё есть время ошибаться.

Она права. Я никогда не проверяла эту цифру.

Глава 3. Ножницы

«Мам, ты гирлянду нашу не выкинула? Ёлочную. Достань, пожалуйста, я в субботу заскочу».

Гирлянду я не выкинула. Гирлянда их собственная, но живёт у меня: в их квартире кладовки нет, в моей есть антресоли. Пока я набираю ответ, приходит второе сообщение:

«Нам до восьмого надо. Ирина записала на фотосессию, новогоднюю. В декабре этот фотограф в два раза дороже».

Так что Новый год у них в этом году восьмого ноября.

«Хорошо».

Стремянку я достаю из-за шкафа, и тут звонит телефон.

— Мам, ты сообщение видела? Про гирлянду.

— Видела. Достану.

— Она вообще горит? Она с позапрошлого года лежит.

— Проверю.

— Ты только сама не лезь, ладно? Попроси соседа. Или я пораньше заеду и сам. — На фоне у него склад, кто-то спрашивает про паллеты. — Ну всё, мам, мне тут привезли. В субботу.

— Хорошо, — говорю я и ставлю стремянку под антресоли.

Антресоли у меня в прихожей, над дверью, глубокие, в две коробки глубиной. До дверец два метра семьдесят, во мне метр шестьдесят два. Разницу закрывает стремянка.

Стремянка старая, я тяжелее, чем была. Договорились: она не складывается, я не тороплюсь.

Под короткую ножку подкладываю сложенный вчетверо лист старого календаря, пробую рукой: не качается. С коленом на лестницах у нас тоже всё отработано: правая нога идёт первой, левая подтягивается, на каждой ступеньке пауза. Четыре ступеньки, три паузы. Наверху держусь за косяк.

Дверцы поддаются туго, с пылью. Пыль оседает на рукав, стряхивать буду внизу. Коробки стоят, как я их поставила: «ёлка» с краю, за ней «банки», у стенки «Илья, лыжи». Банки тоже их: Ирина закрывает осенью лечо, хранить у них негде. Лыжи Илья перерос за одну зиму. Подписи на коробках все мои.

Тяну «ёлку» на себя, и за ней, вплотную к стенке, открывается ещё одна коробка, поменьше. На боку фломастером, выцветшим до серого: «разное». Тоже моя рука.

Можно не трогать. Но стремянка уже разложена, а второй раз за день я её раскладывать не стану. Снимаю обе. Вниз коробки едут по одной, прижатые к груди; ступеньки те же, пауз больше. «Ёлка» лёгкая. «Разное» тяжелее, чем выглядит.

Гирлянду проверяю сразу, от розетки: горит вся, ровно. Сматываю её восьмёркой, убираю в пакет, пакет вешаю на ручку входной двери. В субботу вопросов не будет.

Ставлю чайник и возвращаюсь в комнату, к столу. Придвигаю лампу.

Скотч на «разном» пожелтел и отходит сам, только потяни за угол. Крышка примята: сверху стояло что-то тяжёлое. Гирлянда и стояла.

Сверху газетный свёрток. Газета серая, ломкая по сгибам; разворачиваю на весу, над столом.

Садовые ножницы. Мамины. Кованые, тяжёлые, с прямыми лезвиями; кольца ручек обмотаны синей изолентой, чтобы не давило ладонь, и изолента затёрта до гладкого. Мама резала ими малину, обрезала яблони и один раз, перед первым сентября, мою чёлку. Лезвия смазаны; масло за эти годы высохло в жёлтый воск. Пробую ход: мягкий, без люфта. Пробую на газетном краю: режут ровно, без замина. У мамы инструмент жил десятилетиями.

Я оглядываюсь на дверь комнаты. В квартире никого нет и быть не может. Коробка моя, и ножницы теперь тоже мои, а сижу я с ними, будто вскрыла чужую посылку.

Протираю лезвия краем газеты и заворачиваю обратно, по тем же сгибам.

Под свёртком ключ. Длинный, от врезного замка, на проволочном кольце; к кольцу привязан обрывок бечёвки, узел затянут намертво. Такой замок закрывается на два оборота; наш всегда заедал на втором. Дом в Кленовке я продала в девяносто шестом. Ключ, выходит, тогда не отдала.

Взвешиваю его на ладони. Кладу рядом со свёртком.

Ещё в коробке бумажный пакетик, мягкий от времени. Надпись расплылась, читается только «...смесь». Внутри пе-

ресыпается мелкое, сухое. Семена. Кладу на стол, не вскрывая. Под ними пара брезентовых рукавиц, новых, ни разу не надёванных.

На дне тетрадь в клетку. Школьная, двенадцать листов, обложка когда-то была зелёной, углы сточились до мягкого. Схожу на кухню за очками для близи, возвращаюсь, сажусь.

Тетрадь открывается сама, на развороте, который держали чаще других.

На развороте карандашом расчерчен участок: дом, от крыльца дорожка, шесть грядок с номерами, теплица вдоль южного забора с пометкой «три на шесть», три кружка в ряд с подписью «яблони», а у дальнего забора квадрат, заштрихованный часто-часто, и отдельно, мелко: «скамейка». Скамейка нарисована сбоку, в профиль: три доски и две ножки.

Дом нарисован в два окна. Над трубой три косых штриха: дым.

Дорожка прорисована двойной линией, внутри точки. Гравий.

Палец сам идёт по дорожке, от крыльца до скамейки. Я убираю руку.

Под номерами грядок, на полях, расшифровка: морковь со свёклой, зелень, клубника в два ряда. Грядки пронумерованы по порядку. Пересчитываю, хотя считать тут нечего. Шесть.

На левой странице списки: что сажать в первый год, что во второй. Второй год расписан подробнее первого. За теп-

лицей три галочки подряд и приписка: «смородина, у Нюры взять отводки». На последнем листе, с конца тетради, столбиком сорта яблонь: антоновка, белый налив, штрифель. Против каждого галочка.

Внизу разворота, в правом углу, чертёжная подпись: «Т. Ковалёва, 1996». Почерк мой, только буквы прямее.

Я снимаю очки, протираю их подолом кофты, надеваю обратно.

Дальше смета: саженцы, плёнка на теплицу, доски, гвозди. Плёнка взята с запасом, десять процентов на раскрой. Отдельной строкой: «скамейка: бесплатно, доски есть». Цены девяносто шестого года, в тысячах, ещё до деноминации. Итог подведён и подчёркнут дважды. Проверяю столбик в уме. Сходится до рубля.

Закрываю тетрадь. Карандаш не выцвел нисколько. Грифель вообще держится дольше чернил: чернила уходят лет за двадцать, по архиву ТСЖ проверено.

Чайник на кухне давно отщёлкнул. Я так и не налила. Наливаю теперь, приношу чашку в комнату и ставлю на дальний край стола, подальше от тетради.

Складываю всё, как лежало: тетрадь на дно, рукавицы и свёрток на неё, ключ и семена сбоку. Семена перекладываю дважды, пока не встают на место. Так коробка закрывается ровнее.

Ничего особенного в ней нет: ножницы, ключ, тетрадь. Старый скотч не липнет. Приношу новый и заклеиваю по

старому шву, в два слоя. Фломастер в ящике есть, но надпись я не обновляю.

Наверх коробка едет тем же порядком: четыре ступеньки, три паузы. Ставлю её на место, к самой стенке, и задвигаю за «банки», глубже, чем она стояла. Дверцы прикрываю до упора.

Стремянка складывается с третьего раза. Убираю её за шкаф и иду мыть руки: ладони после антресолей серые.

В аптеку я собиралась завтра, с утра. Одеваюсь и иду сегодня: рецепт всё равно со вчерашнего дня в сумке, срок у него до конца месяца. И в квартире натоплено, душно.

Перед выходом проверяю газ и дверь. Газ выключен, дверь заперта. Проверяю ещё раз. Рецепт перекладываю в карман пальто, к ручке.

На улице конец октября, темнеет рано, фонари уже горят. До аптеки восемьсот метров: гаражи, потом остановка, за остановкой зелёный крест, горит до восьми. По дороге прикидываю субботу: гирлянда готова, можно успеть испечь пирог с яблоками, полпакета осталось от Галины. В аптеке, кроме рецепта, взять пластырь: у Ильи вечно коленки.

У гаражей пахнет холодным железом и палыми листьями. Вдоль дороги идёт собака. Крупная, белая с рыжим, без ошейника. Идёт впереди меня, шагах в двадцати, держится кромки асфальта, не суетится, углы не обнюхивает. Шерсть густая, чёсаная. Чья-то.

Я оглядываюсь: не идёт ли кто за ней с поводком. Никто

не идёт.

На остановке стоят человек пять, подсвеченные снизу телефонами. Мне до остановки метров пятьдесят.

В кармане тренькает телефон: Максим прислал время, в субботу к одиннадцати. Ответить я не успеваю.

Собака сходит с кромки на проезжую часть. Наискосок, не прибавляя шага.

Из-за гаражей выворачивает машина, быстро, дорога пустая.

Машина не тормозит.

Люди на остановке ахают одинаково, как в кино, и одинаково не двигаются.

Глава 4. Шарф

Собаку подбрасывает и кладёт на асфальт у бордюра. Машина уходит, набирая скорость. Я тридцать лет запоминаю цифры с первого взгляда, а тут стою, смотрю вслед, и номер уплывает вместе с машиной.

Секунды две тихо. Потом собака начинает кричать. Лай я слышала всякий, такого не слышала: высокий, ровный, на одной ноте, без вдоха. Она пытается встать, передняя половина поднимается, задняя остаётся лежать, и она падает мордой в асфальт и кричит дальше.

— Сама выскочила, — говорит мужчина в кепке. Никому. Просто чтобы прозвучало.

Женщина с коляской разворачивает коляску спиной к дороге. Остальные стоят. Нас на остановке человек семь, и все мы стоим уже секунд десять.

Потом я иду через газон. Трава мокрая, октябрьская, туфли сразу тяжелеют. Мне вслед советуют: осторожно, женщина, цапнет. Совет правильный. Помощи в нём нет.

Она лежит на боку и гребёт передними лапами. Задние не двигаются вовсе, и от бедра по асфальту тянется тёмное. Белая с рыжим, лохматая, морда узкая, глаз светлый, почти прозрачный. Ошейника нет. Килограммов двадцать. В кастрюле с борщом четыре. Здесь пять кастрюль.

Я сажусь на корточки и протягиваю руку. Она вскидывает

голову и щёлкает зубами у самого запястья. Сухо, как степ-лер.

Так. Понятно.

Я оглядываюсь на остановку. Мужчина в кепке смотрит. Женщина с коляской смотрит. Помогать никто не идёт, и это по-своему честно: ещё утром я бы тоже стояла и смотрела.

Сзади шипит дверями автобус и забирает остановку целиком, вместе с советами. Мы остаёмся вдвоём.

Пальцы вспоминают раньше, чем я успеваю решить: в Кленовке сбитым собакам первым делом вязали морду. Сорок лет этому знанию, я была уверена, что оно давно списано. Лежало, оказывается, наготове. Я снимаю шарф, набрасываю ей на морду сверху, пока она мотает головой, оборачиваю дважды и затягиваю под челюстью, концы вывожу за уши. Она дёргается всем телом, скребёт когтями по асфальту, и на секунду мне кажется, что узел не удержит. Удерживает. Крик становится глуше, из него уходит звон. Завязываю второй узел. Первый бы держал и так.

Без шарфа октябрь сразу подбирается ближе, под воротник. Ничего. Мне сейчас будет жарко.

— Тихо, — говорю я ей. — Тихо.

Она смотрит на меня одним глазом и дышит часто, мелко, с сипом. Под моей ладонью, на загривке, шерсть сбита в колтуны и тёплая внизу, у кожи.

Первая машина объезжает нас по дуге. Вторая тоже, притормозив, чтобы рассмотреть. Третья, с шашечками, оста-

наваливается. Водителю за пятьдесят, на зеркале ёлочка, чехлы в клетку, чистые.

— Куда?

— В ветеринарную. Круглосуточную.

Он перегибается через сиденье и видит собаку.

— Э, нет. Ну нет. Я только с мойки.

— Я постелю пальто. И пятьсот сверху.

Он жуёт губу. Собака кричит сквозь шарф, ровно, не сбиваясь.

— Не заразная хоть?

— Только для тех, кто стоит и смотрит.

Секунду он смотрит на меня. Потом тянется назад и открывает заднюю дверь. Из машины не выходит.

— Есть круглосуточная, на выезде, — говорит он в лобовое стекло. — Дочка туда хомяка возила.

Пальто ложится на сиденье подкладкой вверх. Химчистка четыреста рублей; я вношу их в смету раньше, чем поднимаю собаку.

Сумку перекидываю за спину, чтобы не болталась под локтем. Приседаю. Спина сразу предупреждает, что она в этом не участвовала с две тысячи шестого, с кладовки. Участвовать всё равно придётся.

Я подсовываю ладони под неё, под лопатки и под таз, поднимаю с асфальта вместе с грязью, кровью и мелким гравием, и десять шагов до машины прохожу так ровно, как не ходила никогда: уронить нельзя. Она кричит мне в ухо и один

раз бьёт головой снизу в подбородок. В глазах вспыхивает. Ничего. Идём.

На сиденье укладываю её задом к спинке, придерживаю голову, залезаю следом. Дверь захлопываю на себя, не глядя. Таксист трогается мягко, без рывка. Умеет, когда хочет.

В машине она замолкает и начинает мелко дрожать. Голова у меня на колене, шарф мокрый насквозь. Кровь у неё тёплая: правой ладонью я это чувствую. Левой, там, где ожог, не чувствую ничего.

Из-под собаки, из кармана пальто, звонит телефон. Короткими очередями, пока не возьмут. Так звонит Максим. Взять я не могу: рук у меня две, и обе заняты.

Телефон замолкает, ждёт и заходит на второй круг. Собака вздрагивает под ладонью в такт звонку. На третьем круге он сдаётся.

— Чья хоть? — спрашивает таксист в зеркало.

— Не знаю.

— А везёте.

— Везу.

Он качает головой и молча двигает рычажок печки до упора.

— Им тепло надо, — говорит. — У меня кобель был.

Я начинаю считать. Такси со счётчиком и надбавкой выйдет тысячи в полторы. Приём у платного терапевта тысяча восемьсот, собачий врач вряд ли дешевле. Снимок. Если перелом, то операция, а после слова «операция» у меня нет

цифр, и сумма растёт сама, без моего участия. На четырёх тысячах я себя обрываю: на коленях у тебя живое, а тыводишь смету. Досчитываю до семи и перестаю. Со сметой у меня хотя бы не трясутся руки.

Где-то на полпути она перестаёт скулить совсем. Это хуже крика. Я кладу руку ей на бок. Бок ходит, часто и неглубоко. Считаю вдохи, сбиваюсь, начинаю заново. За окном мост, тот самый, на котором автобус стоит всегда. Сегодня проезжаем без остановки.

Клиника на окраине: одноэтажная, крыльцо в три ступени, за стеклом горит белым. Таксист берёт деньги и смотрит в зеркало, как я вытаскиваю её с сиденья прямо на пальто, свёртком, рукава подоткнуты под бока.

— Удачи вам, — говорит он и уезжает раньше, чем я разгибаюсь.

Три ступени крыльца беру по одной, боком. Дверь клиники открываю плечом.

Внутри пахнет лекарством и псиной. На скамейке у окна сидит мужчина с переноской, из переноски смотрит рыжий кот. Девушка за стойкой поднимает голову и не задаёт ни одного вопроса: жмёт кнопку и зовёт в коридор: каталку в первую. Через полминуты собаку у меня забирают двое в зелёном, пальто остаётся висеть у меня на локте. Руки у них быстрые и скучные: видно, что таких собак у них в неделю по три.

— Сбила машина, — говорю я. — Минут двадцать назад.

Задние лапы не держат, из бедра кровь.

— Морду кто завязал? — спрашивает тот, что постарше.

— Я.

— Правильно завязали.

Он говорит это уже на ходу, спиной. Каталка уезжает в коридор, шарф уезжает вместе с ней, узлом вперёд, и дверь в конце коридора закрывается.

Руки остаются пустые. Я вытираю их о пальто. Пальто всё равно уже в крови.

Мужчина с переноской встаёт, подходит и молча кладёт передо мной на стойку пачку влажных салфеток. Возвращается на место, к коту. Я говорю «спасибо» его спине и вытираю руки по-настоящему, палец за пальцем. Кровь засохла в складках у костяшек и под ногтями, с первой салфетки не сходит. Уходит четыре.

— Так, — говорит девушка и придвигает клавиатуру. — Оформляем. Фамилия?

— Ковалёва.

Она печатает. Спрашивает адрес, телефон, я отвечаю, и мой голос звучит ровно, как на сдаче отчёта. Посреди ответа я замечаю, что стою к стойке боком, вполоборота к коридору, и приходится разворачивать себя обратно.

— Присядьте пока, — говорит девушка. — Врач выйдет, скажет.

Я не присаживаюсь. Стою у стойки, держу пальто, с него на плитку тихо капает. Над стойкой преискурант в рамке:

первичный приём девятьсот рублей. Дальше не читаю. Прочитаю, когда позовут платить. Достаю телефон: три пропущенных и сообщение. «Мам, ты аптеку не забыла?» Я убираю телефон в сумку. Обычно к этой минуте у меня уже готово объяснение, отглаженное, со всеми причинами. Сейчас не готовится.

За дверью в коридоре что-то звякает, потом ещё раз, потом голоса. Меня туда не зовут.

— Ваша? — спрашивают на стойке.

— Нет, — говорю я. И не отпускаю поводок, которого нет.

Глава 5. Стол

Стол железный. Собака дрожит, и стол дрожит вместе с ней.

Смотровая маленькая: стол, весы, шкаф со стеклом, над столом лампа на длинном кронштейне. У стойки я простояла час: подписала бумаги, продиктовала адрес и телефон, а потом за мной вышли и позвали сюда. Теперь я держу её за холку и говорю вслух какую-то ерунду. Слова здесь ни при чём: она слушает ладонь. Под ладонью толкается сердце, часто и мелко. Я считаю удары, сбиваюсь, начинаю заново.

Шарф с морды у неё сняли и подложили под голову. Он бурый и мокрый насквозь. Девять зим носила. Списала за один вечер. Собака лежит на нём щекой, и я его не забираю.

Клиника на Заводской, у самого края города. Печку в такси водитель вывернул до упора, и всю дорогу в машине было жарко, как в бане. Руки до сих пор помнят, какая она тяжёлая. Двадцать килограммов, если на руку. Руке моей в таких вещах можно верить.

Врача нет, и я пересчитываю банки на полке за стеклом. Четырнадцать. Хотя что-то в этой комнате сходится.

Только теперь я разглядываю её как следует. Белая с рыжим, уши торчком, глаза светлые до прозрачности, почти голубые. Красивая собака. Думаю я об этом только сейчас, через полтора часа после того, как впервые её увидела.

Врач входит и, ни о чём не спросив, идёт к раковине. Моет руки долго, дольше, чем моют перед обычной работой; со спины видно, как ходят лопатки. Потом поправляет лампу над столом, на два пальца влево, и свет ложится собаке на бок ровно, без тени. Потом он смотрит на собаку. На меня после, коротко, как сверяют фамилию в накладной.

Людей я считываю по рукам, голос можно послушать потом: руки врут последними. Его руки спокойные. Крупные, сухие, ногти короче моих. Собака перестаёт дрожать раньше, чем он говорит первое слово.

На халате бейдж: «Гладков Андрей Петрович, ветеринарный врач». Прочитываю дважды, буква в букву. Привычка.

— Когда? — спрашивает он.

Голос у него тише моего. Я отвечаю и слышу, что сама убавила громкость:

— В шестом часу. Машина. Не остановилась.

— Сознание теряла?

— Нет. Кричала.

Про то, как она кричала, я собираюсь доложить ровно и по порядку, но на втором слове голос всё-таки спотыкается. Он не поднимает глаз. Ждёт. Я договариваю: как машина ушла за поворот, как люди на остановке смотрели, как собака ползла к бордюру на передних лапах. К середине голос выравнивается. С фактами мне всегда было проще.

— Вставала?

— Пыталась. Я не дала.

— Правильно.

Он ведёт ладонями вдоль её спины, медленно, от лопаток к тазу, и собака, которая час назад никого к себе не подпускала, лежит и позволяет, только ухо дрожит в такт его пальцам. Над крестцом она вскрикивает. Он останавливается и ждёт. Ждёт столько, сколько нужно ей.

— Тихо, тихо, — говорит он. Ей, не мне.

Пальцы у него в мелких белых шрамах: работа кусается. Кольца нет. Эту графу я заполняю раньше, чем спохватываюсь.

— Сколько ей? — спрашиваю я, чтобы спросить хоть что-то, на что бывает ответ.

— Года четыре, — он оттягивает ей губу, смотрит зубы.
— Плюс-минус.

— Бордер-колли, — говорит он. Тоже собаке.

Две секунды ему на это понадобилось, по морде и затылку. Я всю жизнь свожу чужие цифры и до сих пор не могу разобрать, что мне выписали в поликлинике.

Дышит она мне в левую ладонь, с внешней стороны, где ожог. Что дыхание у неё горячее, я знаю по памяти.

Работает он молча, и молчание у него лёгкое: под ним можно стоять, держать собаку и ни перед кем не отчитываться.

Снимки уже на экране: их сделали, пока я подписывала бумаги у стойки. Он кивает мне на экран и водит по нему колпачком ручки:

— Таз. Трещина здесь. Здесь перелом. Связка порвана. Кровь остановили.

— Что дальше?

— Покой. Уколы. Дней через десять повторим снимок. Я достаю из правого кармана ручку. Она там всегда.

— Мне нужно по дням, — говорю я. — Что колоть, когда перевязки, когда швы снимать. Сроки. И прогноз.

Он молчит. Пауза у него длиннее фразы. Я успеваю приготовить возражение первое: мне нужно планировать. Возражение второе: я не могу ездить сюда вслепую. Третье приготовить не успеваю.

— Живое не выздоравливает по расписанию, — говорит он. — Могу дать схему. Гарантию — нет.

— Меня устроит плохая цифра. Я тридцать лет работаю с плохими цифрами.

Говорю я это ровно, рабочим голосом. Этим голосом я сообщала председателям трёх ТСЖ, что денег на кровлю нет и в этом году не будет.

— У меня нет цифр. Есть она. — Он кладёт ладонь собаке на бок и оставляет. — Будут снимки, будут цифры. Какие получатся, такие и скажу.

— Она встанет?

Пауза.

— Не знаю. Лечу её так, будто встанет.

Возражений на «не знаю» у меня не заготовлено. В моей работе за такой ответ снимают с должности. Его «не знаю»

почему-то весит больше любого процента.

Всю жизнь любая моя задача заканчивалась итоговой строкой: я всегда знала, что будет написано внизу страницы, за это мне и платили. Здесь внизу страницы пусто. И человек, который мог бы вписать туда что угодно, вписывать отказывается.

Он берёт йод и обрабатывает ссадины у неё на бедре. Собака дёргает кожей; он переживает и мажет дальше. Пахнет спиртом и яблоками: на подоконнике лежат два яблока, кто-то принёс и забыл.

Собака уже не дрожит, только смотрит в стену. Я стою с её стороны стола и глажу между ушами. Кто-то же должен стоять с её стороны.

На тумбе с моей стороны коробка салфеток. Он заканчивает и оглядывается. Я вытягиваю салфетку и протягиваю через стол. Он кивает на угол, я кладу, и он забирает с угла, уже глядя на собаку. Вытирает пальцы по одному. Салфетку сминает и бросает в ведро не глядя.

Пока он пишет в карте, я мысленно собираю объяснение: собака чужая, я шла в аптеку, просто оказалась ближе всех. Объяснения у меня никто не просил. Я всё равно довожу его до гладкого.

На манжете у меня кровь, засохла ещё в такси. Подворачиваю рукав, пятно уходит внутрь. Слышу себя и возвращаю манжету как было. Тоже мне. Нашла время.

— Ночь она у нас, под капельницей, — говорит он. —

В девять позвоните. Если что-то пойдёт не так, я позвоню раньше.

— Хорошо, — говорю я.

Слово как слово. Сегодня оно мне ничего не стоит.

— Хозяина искать будете?

— Буду. Наверное.

«Наверное» выскакивает само. Слова я обычно провожу строже.

Он не переспрашивает. Наливает в миску воды и ставит на стол так, чтобы ей не тянуться. Она не пьёт, но смотрит на воду. Уже что-то.

— Дальше ей нужен покой, недели на три минимум, — говорит он. — Уколы дважды в день. Колоть умеете?

— Научусь.

Шприц я держала в руках давно, ещё при маме. Руки вспомнят. Им не впервой вспоминать за меня.

Он смотрит на меня второй раз за вечер. Долше, чем сверяют накладную.

— Покажу, — говорит он. — Пишите пока.

И придвигает мне бланк. Третий час я на ногах, и правое колено подаёт об этом служебную записку. Я выравниваю бланк по краю стола и пишу в два столбика: слева «что», справа «когда». Антибиотик утром и вечером, в одно и то же время. Обезболивающее на ночь. Вставать не давать; поднимать, подведя под живот сложенное полотенце. Вода рядом. Температуру мерить вечером; тридцать девять и три или вы-

ше, звонить сразу. Перевязка через два дня, здесь. Швы, если всё пойдёт как надо, снимут на двенадцатый день. Если сутки не ест, звонить.

Расписание выходит на четырнадцать строк. Перечитываю его, ручка всё равно уже в руке. Завтра в девять позвонить. Послезавтра перевязка. Уколы утром и вечером, в одно и то же время, по два кубика. Мир пока не сходится. Но у него теперь есть график, а с графиком уже можно жить.

У него в кармане звонит телефон. Он смотрит на экран, сбрасывает и говорит: «Продолжим».

Глава 6. Карточка

— Восемнадцать четыреста, — говорит девушка за стойкой, разворачивает ко мне монитор и придерживает его ладонью, чтобы не уехал. — Вы по строчкам проверьте. Все проверяют, чего вы.

На бейдже у неё фломастером выведено «Лера». Ниже, мелким типографским: «администратор». Прочитываю дважды, буква в букву. Привычка.

Мужчина с рыжим котом уже ушёл. В приёмной нас двое, за окном темно, и с крыльца в стекло смотрит фонарь. Запах лекарства я перестала слышать час назад: принялась. На стене за стойкой, рядом с преискурантом, скотчем приклеены детские рисунки: собаки, коты, одна черепаха. Под черепахой печатными буквами: «СПАСИБО».

Проверяю по строчкам. Первичный приём, девятьсот. Снимки, два по тысяче двести. Обработка ран. Капельная система. Стационар, сутки. Препараты, семь позиций, названия незнакомые, цены уверенные. Сложено верно, до рубля.

Восемнадцать тысяч четыреста. Я делю их на свой месяц раньше, чем успеваю решить, надо ли. Ровно половина. Вторая половина расписана давно и наизусть: квартплата, свет, проездной, аптека.

Пересчитываю на ходу, пока принтер за стойкой прогревается: рынок вместо магазина, сапоги переезжают на март.

Сходится. Без запаса, но сходится.

— Всё сходится, — говорю я.

— Это пока за сегодня, — Лера задерживает на мне взгляд чуть дольше, чем на мониторе. — Дальше по снимкам видно будет. Вы просто готовьтесь, что будет ещё.

— Я готовлюсь.

«Ещё» я вношу в уме отдельной строкой, без суммы. Такие строки самые тяжёлые. Если дойдёт до операции, цифры там будут другого порядка. Про другой порядок я подумаю, когда его напечатают.

Карта проходит с первого раза. Чек выползает длинный, в ладонь. Складываю его вдвое и убираю в файл, к квитанциям за свет: файл всё равно живёт в сумке. Тридцать лет каждая моя трата подшита и объяснена. Кому я собираюсь объяснять эту, вопрос открытый. Подшиваю.

Пальто перевешиваю на другой локоть, кровью внутрь. Людям в приёмной оно ни к чему.

Пока Лера возится с карточкой, достаю телефон. Три пропущенных и «Мам, ты аптеку не забыла?» висят с шести часов без ответа. Печатаю: «Завтра занесу. У меня всё в порядке». Перечитываю. Про собаку не пишу: для собаки понадобится объяснение, а оно у меня ещё не готово. Отправляю как есть и убираю телефон на дно сумки, под файл.

Из-под стойки, с нижней полки, где коробки с бланками, выбирается кот. Серый, тяжёлый, ухо порвано и зажило углом. Садится у Лериного локтя и смотрит на ящик стола: про

пакетик с кормом он знает раньше Леры.

— Это Компот, — Лера достаёт пакетик и кормит его с ладони, второй рукой продолжая печатать. — Клинический. Привезли после драки, хозяева не забрали, третий год с нами. У нас тут сериал без выходных. Только зарплата не сериальная.

Кот ест с руки и смотрит при этом на меня, не мигая. Доедает, вылизывает Лере ладонь и уходит под стойку, на своё место между коробками.

Звонит телефон. Лера снимает трубку, говорит «до десяти», «нет, глистогонное завтра, натошак», «да, и коту можно», вешает и возвращается к карточке, не потеряв строки. Печатает она быстрее всех в моей конторе, включая меня.

— Утром позвоните в девять, — говорит она. — Спросите меня или Андрея Петровича. Только в шесть не звоните, ладно? Некоторые в шесть звонят. Я по голосу слышу, что человек с пяти сидит у телефона, и мне их жалко, а сказать мне им нечего: обход в восемь.

— В девять, — говорю я. У меня это уже записано. Четырнадцать строк, первая: «в девять позвонить».

— И вы за свою не бойтесь. Она в третьем боксе, какает. Ночью Андрей Петрович дежурит, он сам всех смотрит. Хотите, взгляните. Только тихо: она после препаратов мутная.

«За свою» я не поправляю. Поправлять надо было раньше, часа три назад.

Иду по коридору. Здесь лекарством пахнет гуще, чем в

приёмной, и за стеной ровно гудит стиральная машина: сушатся чьи-то пелёнки. В первом боксе спит кто-то маленький, забинтованный до состояния свёртка. Второй пустой. В третьем, за решётчатой дверцей, лежит она: бурый ком моего шарфа под белой щекой, задняя половина укрыта зелёной пелёнкой, и трубка капельницы уходит вверх, к бутылке, и мерно, по капле, делает свою работу, и я стою в чужом коридоре, держу на локте пальто и не могу вспомнить, куда я так торопилась сегодня в шестом часу.

Подстилка под ней толстая, край пелёнки подоткнут ровно, по-больничному. Кто-то уже устроил её на ночь. И сделал это лучше, чем сделала бы я.

Где-то дальше по коридору коротко скулит и затихает кто-то четвёртый, кого мне отсюда не видно.

Она не поднимает головы. Ухо поворачивается на мои шаги и возвращается на место.

— Тихо, — говорю я. Ей это слово сегодня говорили уже двое.

Бок под пелёнкой ходит ровно, неглубоко. Считаю вдохи до двадцати.

Стою, сколько можно стоять, чтобы это ещё называлось «взглянуть». Потом ещё немного. Потом возвращаюсь.

— Так, — Лера подтягивает клавиатуру. — Карточку закроем, и поедете отдыхать. Последний автобус отсюда в двадцать два двадцать, вы успеваете. Владелец: Ковалёва. Адрес есть, телефон есть. Кличка?

— Она не моя.

Выходит быстро и гладко. Ещё бы: эту фразу я довожу до гладкого с шести вечера.

— Это я поняла, — легко соглашается Лера. — У нас полбазы таких. А в графу-то что? У меня там уже три Собаки и один Пёс. Потом никого не найдёшь.

— И что с ними потом? С теми, которые не свои.

— По-разному, — говорит Лера и впервые за вечер не улыбается. Потом кивает под стойку, на коробки: — Компот вот остался. Это удачный вариант.

В Кленовке собак звали коротко и без затей: Дозор, Пальма, Жучка. Кличку давали хозяева, за столом, в первый же вечер, и с этого вечера собака была чья-то. Я видела, как это делается. Сама ни разу.

Графа маленькая, сантиметра три. Я знаю, как это устроено: что вписано, за то и отвечаешь. Сколько себя помню, я ставила подпись только под тем, за что могла ответить, и меня ни разу не поймали на чужой строке.

Ручка уже в руке. Из правого кармана она достаётся сама, я только не мешаю.

— Можно пустую оставить, — говорит Лера тише. — Потом впишете, со временем.

Пустых граф я не оставляю. В пустую графу потом кто угодно впишет что угодно. Насмотрелась в ведомостях.

Лера не торопит: подпирает щёку ладонью и ждёт.

Слово не приходит. Ручка висит над бланком, кот под

стойкой шуршит коробкой, и от этого шуршания тишина только ровнее.

Дверь в конце коридора открывается шире, и к стойке идёт Андрей Петрович. Халат расстёгнут, в руках бумажное полотенце: вытирает пальцы по одному.

— Лера, третьему боксу добавьте в лист назначений, — он называет препарат по слогам, и Лера вбивает его, не переспросив. Потом он смотрит на монитор, на бланк, на ручку над пустой графой. На меня после, коротко.

— Спит, — говорит он. — До утра под капельницей. В девять позвоните.

— Я помню.

Он не уходит. Сворачивает полотенце и бросает в урну не глядя. Стоит и смотрит на графу. Пауза у него длиннее фразы, это я уже знаю.

— Пишите: Найда, — говорит Андрей.

— Почему Найда?

— Потому что вы её нашли. Не наоборот.

Глава 7. Одеяло

Между вторым и третьим этажом у нас привал.

Расчёт сделан ещё в такси: до пятого этажа восемь пролётов, между ними четыре подоконника. Пролёт несущий, на подоконник кладу, дышу. Подоконники в нашем подъезде широкие, старой постройки, двадцать килограммов держат с запасом. Найда лежит поперёк подоконника, свесив переднюю лапу, и смотрит во двор, где ни разу не была.

Правила я объявила ей ещё в машине, вслух, пока печка гнала жар на заднее сиденье: жить будешь у батареи, диван не для собак, через три недели вернём всё как было. Она слушала в пол. Подписей я не требовала.

Таксист донёс её до двери подъезда и сдал мне с рук на руки.

— Дальше сами. У меня спина.

Дальше я сама.

Беру её, как тогда, на остановке: ладони под лопатки и под таз, к себе, к пальто. Правая нога идёт первой, левая подтягивается, на каждой ступеньке пауза. Ступенек в пролёте девять, я пересчитала их сегодня столько раз, сколько за тридцать лет не считала. Она не дёргается, только дышит мне в ключицу, горячо и часто. Уронить нельзя. Идём.

Третий привал длиннее первых двух. Сумка с ампулами и выпиской сползает с плеча, я поправляю её подбородком.

Правое колено отзывается на каждой площадке. Потерпит до пятого, я тоже терплю.

На площадке четвёртого открывается дверь: соседка выставляет мусорное ведро и оглядывает нас обеих.

— Ковалёва, ты никак собаку завела?

— Взяла. На время лечения, недели на три.

Про сроки она не спрашивала. Я называю их сама и сама же под ними расписываюсь.

Перед своей дверью кладу Найдю на коврик, отпираю оба замка, заносу. Руки гудят до локтей. Ничего. Донесли.

Место рассчитано заранее: в комнате у батареи, подальше от балконной двери. Таксист тогда сказал: им тепло надо. Пол у батареи я померила ладонью ещё утром, тёплый. Ковёр скатываю и ставлю за шкаф, к стремянке. Вниз клеёнка, на клеёнку одеяло, гостевое, верблюжье. Последний гость ночевал под ним так давно, что одеяло пахнет шкафом. Сверху пелёнка. Миска с водой на расстоянии морды: вставать ей нельзя.

Курица сварена с утра, до клиники. Врач велел звонить, если сутки не ест. Про курицу врач ничего не говорил, но я всё равно ссылаюсь на врача. Ест она быстро, оглядываясь на меня между глотками, доедает и отворачивается к стене. Воду не трогает. Пьёт она, как выяснится к вечеру, только когда я выхожу из комнаты. Слышно из кухни.

Пелёнок из клиники у меня две. Мало. Аптека у остановки, туда и обратно, плюс очередь. Меня нет сорок минут.

Возвращаюсь с упаковкой, тридцать штук, шестьдесят на девяносто, и с порога комнаты останавливаюсь.

Собака на диване.

Как она туда поднялась со своим тазом, знают только она и диван. Диван я покупала в две тысячи двенадцатом, полгода откладывала и месяц выбирала обивку; днём на нём не лежал ещё никто. Снимать поздно и дороже: ещё раз двадцать килограммов на руки, и неизвестно, чем это кончится для нас обеих. Сажусь на корточки, веду ладонью по боку, по задней лапе, по шву под повязкой. Не скулит. Дышит ровно. Смотрит мимо меня, в сторону кухни.

Стелила я ей у батареи. Через сорок минут она на диване. Мы обе делаем вид, что это была моя идея: переносу одеяло с клеёнкой на диван, подтыкаю под подушки, пелёнку подвожу под таз, приподняв её полотенцем под живот, как учили. К краю придвигаю два стула спинками: поедет ночью, упрётся. Одеяло на диване смотрится так, будто лежало там всегда.

В восемь вечера укол. Утренний ей ставили ещё в клинике, при мне. Вечерний мой.

Расписание из клиники, четырнадцать строк, висит на холодильнике. Строка первая: антибиотик, два кубика, утром и вечером, в одно и то же время. На кухонном столе раскладываю по порядку: ампулы, спирт, вата, шприц. Ампула вскрывается по точке, с сухим щелчком. Набираю два кубика, выгоняю воздух до капли на игле. Всё это я делала давно,

ещё при маме, и руки, оказывается, ничего не забыли: кожную складку на холке собираю левой, игла входит под углом, плавно, до упора. Мама при этом всегда смотрела в окно.

Найда вздрагивает кожей и поворачивает голову. Смотрит. Не рычит.

— Всё, — говорю я. — Уже всё.

Выдыхаю позже, над раковиной, когда мою руки. Ампул в коробке остаётся девять, до перевязки хватит и ещё останется. Пересчитываю. Девять.

Обезболивающая таблетка на ночь уезжает в куске курицы. Курица уходит целиком, вместе с вложением.

Чай пью в комнате, на одном из сторожевых стульев, хотя всю жизнь пила на кухне. Кухня сегодня почему-то далеко. Найда лежит с открытыми глазами и провожает каждый мой проход по квартире. Голова лежит неподвижно, работают одни глаза.

Потом кухня, листок, ручка из правого кармана. Пишу на завтра: укол в восемь, бульон, проветрить, пелёнки пересчитать, в четверг перевязка. Пять строк, и все пять я перечитываю дважды, хотя запоминать там нечего. Мне хорошо, вот что обнаруживается при перечитывании. Так. Это временно, говорю я себе. Это по-человечески: долечить и вернуть всё как было. Объяснение выходит гладкое, со всеми причинами. Никто его не просил, а оно уже готово.

Телефон весь вечер молчит. Гирлянду Максим забрал ещё в субботу; про собаку я тогда не сказала. Нечего пока было

говорить, собака лежала в клинике. Теперь собака лежит на моём диване, а сказать по-прежнему нечего. В среду привезут Илью. К среде надо подобрать слова, и я уже знаю, что буду подбирать их до самой среды.

Ложусь в одиннадцать. Дверь в комнату оставляю открытой.

Без двадцати час встаю попить воды. Воды мне не хочется; стакан я всё-таки наливаю и с ним дохожу до комнаты. В полосе света от фонаря видно, как ходит бок: мерно, глубоко. Стулья на месте. Досчитываю до тридцати вдохов и решаю себе уйти. Стакан возвращается на кухню полным.

В половине второго меня поднимает запах. Пелёнка сделала своё дело, на то она и пелёнка. Найда лежит, отвернув морду к спинке дивана, и не шевелится, пока я вытягиваю грязную, протираю, подсовываю свежую, снова полотенцем под живот. Уколы дважды в день, пелёнки по мере поступления. Быт как быт.

— Бывает, — говорю я ей в затылок.

Она не поворачивается. Ухо стоит и слушает, пока я не выхожу.

В три я уже не придумываю про воду. Дохожу до двери комнаты. Дышит. Возвращаюсь, ложусь и считаю её вдохи через стену, хотя через стену их не слышно.

В четвёртый раз я не ложусь.

Батареи к четырём едва тёплые. В прихожей снимаю с крючка пальто и надеваю поверх ночной рубашки. Пальто

вчера вернулось из химчистки, четыреста рублей, всё по смете, и пахнет теперь чужой чистотой.

Сажусь на пол у дивана, спиной к стулу.

Тридцать лет эта квартира ночами звучала одинаково: щёлкал холодильник, постукивала батарея, наверху спустили воду, и все эти звуки значили одно, что дом исправен и можно спать дальше. Теперь к ним добавилось дыхание.

Правую ладонь кладу ей на бок и сразу убираю: разбужу. Бок поднимается и опускается без моей помощи.

В четыре утра я сижу на полу в пальто и слушаю, как она дышит.

Никто не звонит. Я никому не должна сегодня быть где-то ещё.

Я не помню, когда такое было в последний раз.

Глава 8. Крошки

По средам Илью привозит Ирина: поднимется, отдаст рюкзак, откажется от чая и уедет до семи. Сегодня по лестнице поднимаются трое. Шаги Максима я узнаю с четвёртого этажа.

Про собаку я сказала им сама, в воскресенье, по телефону: животное на лечении, временно, у Ильи же нет аллергии? Ирина спросила про породу. Максим не спросил ничего. Вот это его молчание сейчас и поднимается ко мне на пятый.

У меня всё готово. Полы вымыты, миски у дивана стоят ровно, схема уколов приколота к дверце шкафа: часы, дозы, подпись врача. Шприцы в коробке, ампулы рядком, срок годности наружу. Ноябрь, темнеет в пять, я зажгла свет во всех комнатах заранее. Печенье куплено ещё в понедельник, к среде. Себе я такого не покупаю, незачем.

План на сегодня простой: обычная среда. Повода я им не дам.

Илья влетает первым, в одном ботинке, и останавливается посреди комнаты. Найда поднимает голову.

— Гладить можно, — говорю я. — Медленно. И не со спины.

Он подходит боком, присаживается, кладёт ладонь ей на шею и замирает. Найда смотрит на него, потом отворачивается к окну. Терпит. По дороге он зацепил миску, и вода рас-

ходится по полу до самого коврика.

— Ничего страшного, — говорит Ирина раньше, чем я успеваю сказать, что это вода.

Максим проходит в комнату в куртке, с телефоном в руке, и останавливается напротив дивана.

— Ну и вот, значит, — говорит он. — Мам. Это вообще чья собака?

— Пока ничья. Её сбила машина. Я отвезла в клинику.

— И что, других желающих не нашлось?

— Не нашлось.

— Конечно. — Он смотрит в телефон. Экран погашен. — Мам, ну ты же понимаешь, что это не твоя проблема.

— Теперь моя, — говорю я. — Так получилось.

— «Так получилось». А лечение? Ты хоть считала, во что оно тебе уже?

— Считала. Восемнадцать тысяч четыреста.

Сумма его сбивает: он готовился объяснить мне, что это дорого.

— Тем более, — находится он. — Есть передержки, нормальные, за деньги. Я сам найду и сам заплачу. Завтра увезу, хочешь?

— Ей нельзя в машину. Таз.

— А когда будет можно, у неё объявится хозяин. Скажет спасибо, заберёт собаку, а деньги твои останутся при нём. Ты и это посчитала?

— Значит, заберёт, — говорю я.

Он набирает воздуха и заходит с другой стороны: пятый этаж, ей потом гулять три раза в день, а у меня колено. Он говорит про этаж, про колено, про гололёд, который будет к декабрю, про то, что собаке нужен двор, а мне покой, и всё это правда, до последнего слова, и я стою со своей чашкой и жду, когда он доберётся до конца списка.

Ирина в это время развешивает в прихожей куртку Ильи и выравнивает обувь у порога, свою, его и мою, носками в одну сторону. В разговор она не вступает. Молчит она вежливо, всем корпусом к говорящему.

— Она на лечении, — говорю я, когда список кончается.
— Три недели покоя. Потом снимок. Потом посмотрим.

— «Посмотрим», — повторяет он и снова смотрит в погашенный экран.

Илья всё это время стоит у окна и трогает край рукава. Потом тихо проходит между нами и садится на пол возле дивана. Спина к разговору.

— Илья, не лезь к ней, — говорит Максим.

— Он не лезет, — говорю я.

Он и правда не лезет. Сидит, руки на коленях. Через минуту Найда перестаёт следить за ним ухом.

— А почему она Найда? — спрашивает Илья. У дивана, не у нас.

— Потому что нашлась, — говорю я.

Он кивает, будто сверил ответ со своим.

Дальше среда идёт по расписанию. Максим уходит на кух-

ню и говорит там по телефону про паллеты и про то, что «в пятницу машина будет, я сказал». Мы с Ильёй делаем математику. Он решает столбиком, быстро, и через каждый пример поднимает глаза на диван, проверяет. В третьем примере у него семью восемь выходит сорок восемь. Я подвигаю к нему листок и молчу. Он смотрит, сам находит, сам стирает. Ластик у него истёрт до половины, тетрадь в бумажных катышках, и я их не смахиваю.

За стол садимся в шесть. Пирог у меня с обеда, снизу прихватило.

— Ой, ну зачем вы пекли, Татьяна Сергеевна, — говорит Ирина и отрезает себе от куска половину.

— Низ подгорел, — говорю я.

— Ничего страшного. Вкусно же.

Максим ест молча. Телефон лежит рядом с тарелкой, экраном вверх. Со склада ему сегодня не звонят, и прислаться не к чему.

— Ты хоть спишь с ней? — спрашивает он вдруг. — Она же ночью скулит небось.

— Сплю, — говорю я.

Про четыре утра, про пол и про пальто я ему не рассказываю.

Илья съедает два печенья над своим листом. Лист он принёс с собой, в рюкзаке, уже начатый: разложил на углу стола, откуда видно диван, и дорисовывает, поглядывая на комнату. Карандаши у него свои, в жестяной коробке. Рыжий ко-

роче всех. Он точит его прямо над столом, и стружка мешается с крошками.

— Не сори, — говорит Ирина.

— Пусть, — говорю я. — Стол переживёт.

Что там на листе, я не смотрю. Мне видно локоть и то, как он прикрывает рисунок плечом, когда Максим проходит мимо за чайником.

В семь я набираю шприц. Можно было подождать, пока уедут, но схема есть схема: утром и вечером, в одно и то же время. Максим выходит из кухни и встаёт в дверях.

— Мам, — говорит он тихо. — Ты в своём уме? Ты. Со шприцем. Тебе пятьдесят девять.

— Я знаю, сколько мне.

Найда терпит укол молча, только ухо дрожит. Илья смотрит с пола и не дышит.

— А ей больно? — спрашивает он.

— Секунду, — говорю я. — Потом проходит.

— Всё, собираемся, — говорит Максим. — Илья. Ботинки.

На кухне Ирина моет чашки. Чашки чистые, я мыла их перед их приходом. Она домывает все до одной, ставит донцем вверх и уже из прихожей говорит Максиму вполголоса: «Ну не сейчас. Дома». Максим ищет второй ботинок Ильи.

Я собираю со стола. Тарелки, ложки. Крошки, рыжая стружка, сахар.

Илья подходит ко мне со сложенным пополам листом.

Держит двумя руками.

— Сейчас, — говорю я и тянусь за тряпкой.

Два движения, третьим стоняю крошки в ладонь. Оборачиваюсь: лист уже в рюкзаке, молния застёгнута, Илья сидит на корточках у дивана и прощается с Найдой.

Никто ничего не говорит.

— Ботинок нашёлся, — говорит Максим из прихожей.

У двери я говорю Ирине:

— Он смотрел, как я делаю укол. Вы не против?

— Ой, ну что вы. Ничего страшного.

Третий раз за вечер. У неё это значит примерно то же, что у меня «хорошо».

Максим, уже в куртке, заглядывает на кухню, вынимает из ведра пакет и завязывает узлом.

— Я всё равно вниз.

Пятый этаж, без лифта. Злится, а ведро выносит.

— Подумай, мам, — говорит он с площадки. — Я серьёзно.

— Хорошо, — говорю я.

Слышно, как они спускаются. Илья считает ступеньки вслух до третьего этажа, потом перестаёт.

Я запираю дверь и проверяю замок два раза, как всегда. Квартира стоит тихая, только батарея пощёлкивает. Найда ест и оглядывается, хотя отнимать у неё здесь некому. Я мою тарелки, ставлю на сушилку. Стол чистый; я вытираю его ещё раз, тряпка всё равно в руках, и на середине этого дви-

жения вижу, как оно выглядело со стороны: мальчик стоит со сложенным пополам листом, держит его двумя руками и ждёт, когда у меня освободятся мои.

Вечером нахожу под столом карандашный огрызок.

Рисунок он унёс с собой.

Вот этого я себе не прощу, и вытирать тут нечего.

Глава 9. Лампа

Расчёт у меня на двух листах. Хотела уместить в один, но у плохого варианта всегда больше строк.

Составляла вчера, после десяти, когда Найда уснула у батареи. Она теперь спит на боку, здоровым вниз, и во сне перебирает передними лапами. Задними не шевелит даже во сне.

Цены я брала из чеков и из прейскуранта в рамке над стойкой; чего не нашла, посчитала с запасом, десять процентов сверху. Такси отдельной строкой, туда и обратно: возить её больше не на чем. Вышло три варианта, у каждого три столбика: что, когда, сколько. Первый: всё идёт по схеме, перевязки, швы на двенадцатый день, контрольный снимок; итог подведён и подчёркнут дважды. Второй: заживает туго, перевязки ещё две недели, уколы продлеваются; итог подчёркнут. Третий начинается со строки «снимок плохой», дальше уколы, дальше слово «операция», а под ним пусто. Пустых строк я не оставляю. Эта у меня первая лет за тридцать.

Утром переписала оба листа начисто: первый вариант за ночь пополз вниз. Расчёту, который ползёт, не верю даже я.

В среду сын мне объяснил, что я не в своём уме. Объяснял без цифр, голосом. С цифрами меня сдвинуть труднее, это тридцать лет как проверено.

С бумагой любой разговор короче. С бумагой я хожу в

банк, в поликлинику, на планёрки. Что он ответит, я примерно знаю: живое не выздоравливает по расписанию. Может отмахнуться. Может посмеяться. На оба случая у меня заготовлено по возражению, они едут со мной в такси, рядом с листами.

Читают мои расчёты все одинаково. Данила смотрит одну строку, итоговую. Максим говорит: мам, давай без таблиц. Дальше первой страницы пока не заходил никто.

Таксист попадаетея молчаливый: печку включает сам, перед поворотами сбрасывает заранее. Найда едет на застеленном сиденье, мордой к спинке, и на каждом светофоре я проверяю ладонью, как она дышит. Дышит ровно. Проверяю всё равно.

В приёмной вечер и пусто, пахнет лекарством и сухим кормом. Лера за стойкой прижимает плечом телефон клиники и свободной рукой снимает с клавиатуры кота. Нам кивает на коридор: ждут.

До смотровой Найда идёт сама. Медленно, боком, задние лапы ставит вместе. Я иду рядом, со скоростью её шагов, ладонь держу у загривка. На стол поднимаю её, как учили: полотенце под живот, вторая рука под грудь. Двадцать килограммов. Рука привыкла быстрее, чем я.

Андрей Петрович моет руки коротко, по-рабочему, потом поправляет лампу на два пальца влево, и свет ложится Найде на бок ровно, без тени. У него всё встаёт на место с одного движения. Я так умею только с цифрами.

Бинт он снимает слоями, нижний отмачивает. Работает в две руки, в лоток не смотрит: инструмент ложится ему в ладонь сам. В тот первый вечер Найда дрожала вся, вместе со столом. Сегодня только ухом, в такт его пальцам. Я держу её за загривок и говорю ей вполголоса какую-то ерунду. Слова ни при чём: она слушает ладонь.

— Шов сухой, — говорит он. — Отёк ушёл. Динамика положительная.

Я жду цифру. Он до неё не доходит, и меня это почему-то не бесит.

— Ходить ей по дому можно?

— Нужно. По двору рано.

Свежий бинт идёт виток за витком. Я придерживаю шерсть на боку, чтобы не попала под повязку. Придерживать её, положим, не нужно: рукам спокойнее, когда у них есть занятие.

На последнем витке шерсть над повязкой встаёт дыбом, и мы приглаживаем её одновременно: я от загривка, он от бинта. Пальцы сходятся в шерсти. Между его рукой и моей остаётся полсантиметра, и эти полсантиметра тёплые, теплее собаки. Он убирает руку первым и тянется за ножницами.

Щекам делается жарко. Этого ещё не хватало: перевязка по прейскуранту. Я наклоняюсь к сумке и ищу в ней очки, хотя очки лежат сверху. Хорошо, что он смотрит на бинт.

Он пишет в карте. На подоконнике, где в тот вечер лежали яблоки, теперь два мандарина: опять кто-то принёс и забыл.

Я достаю листы, разворачиваю по сгибам и кладу на угол стола. На тот же угол, где в прошлый раз лежала салфетка.

— Мне нужно понимать сроки, — говорю я рабочим голосом. — Я посчитала три варианта. Посмотрите, где я ошибаюсь.

Он закрывает карту. Берёт листы, поворачивает кронштейн лампы на себя, и свет со спины Найды переезжает на мой расчёт. Под лампой видно, что второй лист я всё-таки помяла в сумке.

Он читает молча, от первой строки, ведёт по столбикам колпачком ручки, как по снимку, переворачивает лист, читает оборот, где у меня расписаны уколы по дням и часам, и я стою, держу собаку за тёплый загривок, смотрю на его руки в мелких белых шрамах и жду, когда он усмехнётся.

— Во втором варианте я заложила лишнюю неделю, — начинаю я, — на случай, если...

— Погодите, — говорит он и возвращается к первому листу, сверяет что-то между страницами.

Я замолкаю. Ждём вдвоём с собакой.

Он не усмехается. Доходит до пустой строки под словом «операция» и останавливается на ней. Пауза у него всегда длиннее фразы, это я уже выучила. Эта длиннее обычной.

— Ошибок нет, — говорит он.

Потом поднимает голову и смотрит мне в лицо. Смотрит и не отводит глаз.

— Вы не спрашиваете, сколько это стоит. Вы спрашиваете-

те, что делать. Это два разных человека.

Говорит он это ровно, тем же голосом, что про шов. И молчит.

В смотровой тихо. Лампа гудит на одной ноте, Найда дышит, за стеной Лера что-то обещает телефону. Он уже опять смотрит в мои листы: у него разговор идёт дальше по графику.

Оба заготовленных возражения остаются при мне. Руки тоже остаются, и девать их некуда. Я поправляю Найде ухо, которое не надо поправлять, складываю полотенце, кладу его на тумбу, потом берусь за край стола. Край железный, холодный. Держусь за него, пока он снова щёлкает ручкой.

Он вписывает в мой второй столбик две строки, поперёк моих граф, и возвращает листы.

— Пока идёт по второму варианту, — говорит он. — Перевязка в пятницу. Через неделю снимок. Он покажет, куда переписывать.

— А швы?

— Двенадцатый день. Если по второму пойдёт и дальше. Куда переписывать. Значит, лист остаётся в работе. Значит, пустую строку мы пока не трогаем.

— Хорошо, — говорю я.

Ручка лежит у меня в правом кармане, как всегда. Достать её незачем: всё, что мне было нужно, уже вписано в мою таблицу его рукой.

Найду он снимает со стола сам, задние лапы придержива-

ет до пола. Она отряхивается передней половиной, на большее пока не согласна, и он возвращает лампу на место, светом на пустой стол.

За стойкой я плачу за перевязку и убираю чек в папку, к остальным. Лера, не отпуская телефона, поднимает на меня глаза:

— Ну что там у нас?

— Динамика положительная, — говорю я.

Слова в этой клинике, оказывается, тоже заразные.

Такси на Заводскую едет долго, минут двадцать. Я заказываю машину, оставляю Найду в приёмной, под присмотром Леры и кота, и выхожу: в аптеке напротив надо взять бинты и шприцы на две недели вперёд. Список он написал мне на обороте визитки клиники. Почерк врачебный, но числа читаются. Найда смотрит мне вслед и остаётся лежать. С Лерой ей, выходит, уже можно.

На улице темно, фонарь горит через один, из пекарни на углу пахнет хлебом на завтра. Листы лежат у меня в сумке, во внутреннем кармане, отдельно от чеков. Во втором столбике теперь два почерка: мой и его. Пятница и снимок.

Всю жизнь я составляю людям расчёты. Сегодня один человек дочитал до конца, сказал «ошибок нет» и вписал свои даты в мои графы, и я несу эту бумагу через тёмную улицу осторожно, обеими руками сумку к себе, будто в ней что-то бьющееся.

Я иду к остановке и на витрине аптеки вижу отражение:

женщина стоит и улыбается пустой улице.

Пятьдесят девять. Улыбается. Ну и пусть.

Глава 10. Объявление

Искать хозяина я выхожу в пятницу, до работы.

Врач спросил ещё в первый вечер: хозяина искать будете? Я сказала: буду, наверное. Прошло две недели. Сегодня утром, пока грелся чайник, «наверное» кончилось.

Спросил он это, глядя в карту: писал, потом ручка остановилась, и он ждал. Люди обычно спрашивают на ходу, для порядка, отвечать им можно что угодно. Этот ждал. Руки его я запомнила с того же вечера: он ощупывал её разбитую заднюю лапу медленно, всей ладонью, и Найда лежала тихо, хотя имела полное право кусаться.

Маршрут составлен с вечера, как обход: остановка, где её сбили, обе доски объявлений у подъездов, столбы до аптеки и обратно. Кто ищет, тот клеит там, где потерял. Я бы клеила так.

Найда провожает меня до двери, боком, задние лапы вместе, и остаётся стоять в прихожей. Я говорю ей «скоро», хотя по маршруту выходит часа полтора.

«Скоро» она уже выучила. Слов за две недели набралось четыре: скоро, нельзя, укол, всё. Все четыре мои. Своё, пятое, у неё где-то есть. Замок поворачиваю тихо, на один оборот: она стоит под дверью с той стороны, слышно, как переступают лапы.

На доске у магазина ремонт стиральных машин, репети-

тор по английскому, котят в добрые руки. Листок с котятками отошёл нижним углом; прижимаю его ладонью на ходу. Про собаку ничего.

Фонари утром ещё горят. По скотчу на чужих листьях видно срок: свежий блестит, старый желтеет и держит одними уголками. Две недели назад я такому обучена не была.

На первом столбе пусто. На втором пусто, и шаг у меня делается легче. Проверка идёт в мою пользу. За такое надо бы себя одёрнуть.

Объявление висит на остановке. На том самом столбе.

С этого места видно аптеку, светофор и кусок бордюра, к которому она тогда ползла на передних лапах. Мимо я хожу через день, за пелёнками и шприцами. Столбы, оказывается, я умею не видеть.

Приклеено скотчем по всем четырём сторонам, ровно, похозяйски. Бумага от дождей пошла волнами, печать держится.

Фотография летняя: трава, угол гаража, мотоцикл без переднего колеса. Собака сидит возле мотоцикла и смотрит чуть мимо объектива. Печать серая, а глаза всё равно самые светлые на листе. Я бы рада обознаться. Не получается.

«ПРОПАЛА СОБАКА! Бордер-колли, сука, 4 года. Белая с рыжим, глаза голубые. Чип 643 098 100 234 617, Логинов К. В. Пропала 19 октября в районе гаражей на Луговой. Вознаграждение гарантирую. Логинов В. Ф. Звонить в любое время».

Шрифт крупный, жирный. Таким у нас в подъездах объявляют о повышении тарифов.

Клички нет. Приметы есть, чип есть, даже вознаграждение есть. Клички нет.

На снимке она сидит ровно, лапы подобраны: посадили и велели ждать. Кто-то учил её этому, кормил, брал с собой в гаражи на Луговую, четыре года подряд. Моих из этих четырёх лет две недели.

Номер чипа длинный, пятнадцать цифр. Столько подряд из головы не берут: списано с документа. Остальное дочитываю глазами: фамилия, инициалы, «в любое время». Всё на месте.

Внизу нарезана бахрома с телефоном. Не оторван ни один номерок.

Телефон у меня в кармане, заряженный. Стою.

Подходит автобус, вздыхает дверями, ждёт и уходит. Женщина с сумкой на колёсиках оглядывается на меня из салона: человек стоит на остановке и никуда не едет.

С ходу такие звонки не делают, только с бумагами под рукой: диагноз, назначения, чеки, всё по датам. Без бумаг я разговариваю хуже, чем считаю.

Объявление я отклеиваю по скотчу, аккуратно, за верхние углы. Цифры перепису дома, без спешки: на холоде рука пишет криво, а такие цифры кривыми быть не должны. Складываю вчетверо, фотографией внутрь, убираю в левый карман пальто. В правом ручка. Они едут через город вместе

и никак друг другу не помогают.

Второе объявление висит на доске у моего подъезда, между отключением воды и «куплю холодильник». Тот же скотч, та же летняя трава. Первое я сняла, чтобы переписать цифры. Для второго у меня объяснения нет. Оно остаётся висеть.

Доска у подъезда на виду. Соседи видели, как я вносила её из такси, в старом пледе, и видят, как ношу теперь пакеты с пелёнками. Сопоставить недолго.

В конторе пальто висит в шкафу, четыре шага от моего стола. Бумаги все дома, в папке; значит, и звонить отсюда незачем. Квартальные ведомости я свожу до двух, подписываю у Данилы, отношу в банк платёжки. Данила подписывает и спрашивает, что это я сегодня какая-то не такая. Такая же, говорю. Обыкновенная. К обеду я про объявление забываю. Дважды выхожу в коридор проверить, на месте ли оно.

После работы очередь в аптеке. Список у меня постоянный: шприцы, пелёнки шестьдесят на девяносто. Провизорша пробивает без вопросов, только спрашивает, поправляется ли. Поправляется, говорю. На улице слово договаривается до конца: поправится, окрепнет, окрепшую можно везти. Хоть в тот гараж, к мотоциклу.

Хлеб, пятый этаж. Найда встречает в прихожей и обнюхивает сумку: хлеб её не интересуется, интересуется, где я была. Отчитываться я не обязана, но про очередь в аптеке докладываю.

Пальто вешаю на крючок. Объявление остаётся в карма-

не: сначала укол, утром и вечером, в одно и то же время. Позвоню после укола.

Ампулу грею в кулаке: холодная щиплет сильнее. Надпиливаю горлышко, ломаю от себя, набираю, выгоняю пузырь. Складку на холке собираю всей ладонью, как показывал врач. Он тогда накрыл мою руку своей, переставил мне пальцы и сказал: собака прощает всё, кроме сомнения. Иглу я с тех пор веду без сомнений. Ладонь его помню отдельно, тёплую, тяжёлую. Вспоминается она дважды в день, по расписанию уколов.

Укол она терпит, как всегда, ухом. Ампул в коробке остаётся четыре; пересчитываю: четыре. На новые нужен рецепт, рецепт у врача, к врачу мы записаны на субботу. Записывались ещё до объявления. Мою руки и смотрю на часы. Пять минут десятого. Десятый час: у людей ужин, телевизор, дети по домам. Такие звонки делают с утра, по свежей голове. Завтра с утра и позвоню.

Ужин я грею и не доедаю. Тарелку мою, ставлю на сушилку. За стеной у соседей телевизор кому-то аплодирует.

Дверь спальни я теперь на ночь оставляю открытой: слышно, как Найда переключается и вздыхает. Под это дыхание засыпается быстрее, чем под радио. Привычке две недели всего.

Потом достаю объявление, разворачиваю на кухонном столе под лампой и разглаживаю сгибы ребром ладони.

Утром я выходила проверить и успокоиться. Проверила.

Найда спит у батареи, здоровым боком вниз, передние лапы перебирают во сне, а на столе, на серой бумаге, она сидит в чужой летней траве, у чужого мотоцикла, и кто-то зовёт её оттуда по имени, которого я не знаю.

Шприцев в ящике на месяц вперёд: покупала упаковкой. Пелёнок тоже упаковка, большая. Месяц я нам, выходит, уже назначила. Теперь есть с кем согласовывать: лежит на столе, «в любое время».

По правилам всё просто. Собака чужая, хозяин объявился, у хозяина фамилия и «в любое время». Чеки у меня подшиты, схема уколов с подписью врача, отчёт готов давно, лучше некуда. Осталось набрать номер.

Позвонить сначала хочется в клинику. Ловлю себя на этом: набрать знакомый номер, сказать, что хозяин нашёл-ся, спросить, как передают схему уколов, если собака меняет дом. Врач бы дослушал. Он, когда слушает, кладёт ручку и ждёт, пока договорю до конца. Хозяину я звонить обязана. Врачу мне хочется. Разница есть, и разбирать её сегодня я не стану.

Телефон я кладу на стол, рядом с бумагой. Экран тёмный. Завтра с утра. По свежей голове.

Блокнот лежит у телефона, ручка из кармана уже в руке.

Я переписываю номер чипа в блокнот. Аккуратно, как чужую цифру в ведомости.

Потом переписываю ещё раз, потому что первый раз рука дрогнула.

Глава 11. Среда

— Мам, приезжай в среду. Просто поужинаем, посидим, — сказал Максим по телефону ещё в понедельник. «Просто» он повторил два раза.

Один раз «просто» значит ужин. Два раза значит разговор.

В среду я выхожу из дома в четыре. Вечерний укол у Найдь в семь, автобус идёт сорок минут, значит, уйти от них надо в десять минут седьмого. Формулировку готовлю в автобусе: «мне к семи», коротко, без подробностей. Подробностей у них одна, называется «собака», и на этом слове ужины заканчиваются. Разговор, если он будет, будет про неё, и ответы у меня собраны с прошлой среды: лечу на свои, срок три недели, потом снимок.

Дверь открывает Илья.

— А у нас жареная картошка, — говорит он вместо здравствуйте и убегает в комнату.

Максим выходит из кухни, целует меня в щёку и приносит тапки. Мои, клетчатые, они живут здесь с их новоселья. Тапки тёплые: стояли у батареи.

Банку облепихи я привезла маленькую, пол-литровую. Ирина говорит «ой, ну зачем, у нас же всё есть» и убирает её в холодильник.

Лист я вижу ещё из прихожей. Раньше на дверце холо-

дильника жили квитанции за секцию и рисунок с ракетой. Теперь там один лист, белый, углы к углам, под новым магнитом. Эксель я узнаю и с трёх метров: у нас в конторе такие листы вешает кадровик. Читать чужой холодильник с порога неприлично. Я иду мыть руки.

За ужином тихо и хорошо. Картошка с луком, огурцы Ириной мамы. Максим накладывает мне первой и выбирает со сковородки, где корочка. Рассказывает про склад: поставили новую программу, полтора месяца все на ушах, а он ещё в августе говорил, чем это кончится. Ирина кивает в нужных местах. Про собаку молчат. Я жду до компота, потом перестаю ждать. Ответы так и лежат в сумке, нетронутые.

Илья под столом поворачивает ко мне телефон. На экране Найда: спит у батареи, ухо торчит из-под пальто. Снято в прошлую среду, пока я резала пирог. Он смотрит на меня снизу, я на него сверху, и телефон исчезает раньше, чем Максим доедает огурец.

За кефиром Максим встаёт сам и говорит в холодильник:

— Мам, кстати. Если тебе из МФЦ смс придёт или позвонят, ты туда не ходи. У меня же доверенность, я всё сделаю.

— А что мне должно прийти?

— Да ничего. По той выписке, для банка. Формальность. — Он закрывает дверцу.

Ирина уносит на кухню пустую тарелку.

По выписке из МФЦ ничего не приходит: её забирают там же, где заказывают. И формальность у него в этом месяце

уже вторая, я считаю их машинально, как ступеньки. И слово чужое: сам он всю жизнь говорит «ерунда», а тут «формальность». Наверное, путает. Он с бумагами с третьего класса так: справку о прививках мы однажды искали всей квартирой.

Чай я пью стоя, между плитой и холодильником, на своём месте. Отсюда лист виден целиком. Вся дверца теперь его. Ракета, надо думать, лежит в какой-нибудь папке: у Ирины всё лежит в папках. Над холодильником идут часы, секунды у них слышные.

Ирина проходит мимо с полотенцем; взгляд её цепляет лист и отпускает. Полотенце у неё сложено вдвое, ровно.

Это график. Ноябрь, декабрь, январь, вся семья на одном листе. Сделан в экселе, шапка жирным, клетки залиты цветом: синие у Максима, зелёные у Ирины. Мне достался жёлтый.

Жёлтые все среды до конца января: Илья, уроки, до семи. Жёлтая суббота тринадцатого декабря: у них юбилей у Смирновых, в моей клетке приписано: «возможно, с ночёвкой». Понедельник пятнадцатого, восемь утра: поликлиника, справка в бассейн; восемь утра значит выйти в полседьмого, через весь город, по темноте. Пятница девятнадцатого: у Ильи утренник, у меня «снять на видео», в зелёной клетке рядом «отчёт». Двадцать восьмого ёлка: отвести к одиннадцати, забрать в час, два часа между ними никак не закрашены. Тридцать первого декабря я у них, в моей клетке на-

писано: «холодец».

А со второго по восьмое января в семи клетках подряд стоит «Илья у мамы»: у Максима с Ириной путёвка в горы, их строка закрашена синим и зелёным сразу. Семь дней ка-никул, целиком, с завтраками и тёмными вечерами; на листе они уместились в три слова. Путёвка со второго: такие би-леты берут загодя, месяца за два-три. Мой январь решили в октябре.

Я перечитываю январь ещё раз, чай всё равно горячий. Секундная стрелка над холодильником успевает обойти круг и пойти на второй.

В среду у меня «до семи», а укол у Найды в семь. Автобус сорок минут; я тут же, у чужого холодильника, передвигаю укол на восемь: ампулу согреть в ладонях можно и позже, Найда подождёт. Передвигаю раньше, чем успеваю решить, согласна ли я вообще что-то двигать. Найды в графике нет. Конторы моей тоже: вторники и четверги стоят белые, пу-стые. Внизу листа мелким шрифтом: «Стр. 1 из 2». Вторая, стало быть, февраль и дальше. Где она висит, я не спраши-ваю.

В графике у меня семнадцать дел и ни одного выходного. Я всю жизнь свожу балансы. Этот не сходится: человека за-были внести в расход.

— Это Ирина оформила, — говорит Максим от стола. Гордится. — Удобно же, мам. Всё заранее, никто никого не дергает в последний момент. Ты же любишь, когда по плану.

— Люблю, — говорю я.

— Вы скажите, если что не так, — говорит Ирина. — Мы просто подумали, что так всем спокойнее.

Обо мне подумали. Это чистая правда. Меня вписали, под каждую мою среду подложены чьи-то смены, кружки и путёвка, всё сцеплено, всё держится, и первое, что я чувствую, пока чай остывает у меня в руках, это благодарность, тёплая, честная, во весь рост.

Я помню зимы, когда Максима не с кем было оставить и я возила его, сонного, к логопеду через весь город к семи утра, и весь план тогда держался у меня в голове. Теперь план держится на холодильнике. В плане я. Жёлтый, между прочим, тёплый цвет. Выбирали с добром.

Будь это злость, я бы знала, куда её деть. Благодарность деть некуда. Стоишь и держишь.

Я ищу глазами пустую жёлтую клетку. Одну, любую, хоть в конце января. Дохожу до тридцать первого, возвращаюсь в ноябрь, прохожу лист второй раз, медленнее. Не нахожу: сделано чисто. И стыдно мне именно за это: люди сели, подумали, расчертили, залили цветом, а я стою у их холодильника и ищу в готовой работе дырку.

Я допиваю чай, ополаскиваю чашку и ровняю магнит. Магнит висит ровно, просто рука уже поднята.

В десять минут седьмого я говорю свою формулировку:

— Мне к семи.

— Знаю я, куда тебе к семи, — говорит Максим. И без

паузы: — Такси вызвал уже, минут через пятнадцать будет. Сядь, попей ещё. Что ты в автобусе будешь трястись с твоим коленом.

Такси значит ещё пятнадцать минут. Я сажусь. Ирина наливают вторую.

Со стула лист тоже виден. Январь и так уже у меня в голове, семь клеток подряд. Часы над холодильником слышны теперь лучше разговора. Пятнадцать минут они отсчитывают честно, по одной.

Илья приносит в кухню рюкзак и деловито проверяет молнию.

— Я в среду приду, — сообщает он. — Это уже в графике.

— Приходи, — говорю я.

— А швы ей когда снимут?

— В пятницу посмотрим.

У него по этому листу выходит собака каждую среду до конца января. Мы оба это посчитали, только он быстрее.

— Да, мам. — Максим смотрит в телефон. — Завтра Илью из школы заберёшь? У Ирины совещание, я в области до вечера. Продлёнка до трёх.

— Завтра я до двух в конторе.

— Ну вот, как раз успеваешь.

Я молчу и считаю: контора, автобус, школа, обратно, укол. Сходится. У меня всегда всё сходится.

— Мам, ты же всё равно дома, — говорит он.

Я смотрю на магнит. Магнит с видом Анапы, где я не бы-

ла.

— Хорошо, — говорю я.

Глава 12. Поводок

Вниз Найда едет у меня на руках: так велено. Двести метров нам выписали в пятницу, вместе со свежим снимком. Шагом, по ровному, без лестниц. Лестницы остаются на мне.

Поводок новый, куплен во вторник в зоомагазине у рынка: брезент, литой карабин, три метра. Ей сейчас и полутора много. Брала с запасом, на ту собаку, которая однажды снова станет тянуть.

Выходим после обеда, по светлому. В карманах ключи и телефон, ручка в правом, где всегда; на двести метров этого хозяйства многовато, но пусть. Восемь пролётов вниз идут легче, чем две недели назад шли вверх. На третьем подоконнике всё равно привал: мне он без надобности, объявляю его ради собаки. Собака лежит поперёк подоконника, свесив переднюю лапу, и смотрит во двор, где ей сегодня наконец можно.

Двор я разметила ещё вчера, без неё. От подъезда до тополя шестьдесят четыре шага, у тополя разворот, обратно те же шестьдесят четыре. Два круга с хвостиком, и двести метров закрыты. Соседка с четвёртого видела мою разметку с балкона и ничего не спросила.

На столбе у арки со вчерашнего дня висит новое объявление, поверх октябрьского, выцветшего до серого: бумага белая, шрифт крупный, приметы, телефон, фамилия и от-

дельной строкой «вознаграждение гарантирую». Отрывных язычков десять, оторван один. Я прочла его вчера дважды, пока мерила двор шагами. Номер не набрала. Собака на лечении, перевозить её нельзя, врач запретил. Так я себе вчера объяснила, и объяснение держится, пока его не проверять. Телефон из объявления я между тем помню, не уча: цифры ко мне липнут, работа такая.

Ночью подмораживало. Лужи к обеду отпустило, у бордюров лёд остался, серый, в пузырях. Ставлю Найдю на асфальт у подъезда. Земля ей первая с двадцать шестого октября.

Первые шаги она делает, как по чужому полу: медленно, боком, задние лапы вместе. Я стою и не тяну. Потом нос находит край газона, и я перестаю для неё существовать. Она читает двор метр за метром, скамейку, столбик у песочницы, чей-то след у мусорных баков, и я иду за ней со скоростью её любопытства, держу поводок с провисом и на втором круге ловлю себя на том, что план прогулок на декабрь у меня в голове уже свёрстан: по мокрому, по морозу, по гололёду с песочком из ящика.

Декабрь. Собака чужая, декабрь чужой, а план у меня готов.

Шестьдесят четыре, разворот, шестьдесят четыре. Считаю вполголоса, вслух: под счёт нам обеим идётся ровнее.

На первом развороте у тополя под аркой стоит машина. Тёмная, поперёк проезда, двигатель работает. Во дворе так не паркуются: так встают на минуту, в которую собираются

уложить всё дело. Второй круг я считаю уже в обратную сторону, от тополя к подъезду: шестьдесят четыре шага, из них четыре по льду, собака поднимается ко мне на руки за секунду. Разметка та же, назначение у неё теперь другое.

Мужчина выходит из-под арки на середине второго круга и идёт к нам через газон, напрямую. Машина за его спиной остаётся с работающим двигателем: приехал ненадолго и глушить не собирается.

Найда поднимает нос раньше, чем он доходит до песочницы. Ветер от арки, она ловит его и держит. Ухо встаёт. Хвост делает одно движение и останавливается на половине. Этого человека она знает.

К моей ноге она подвигается молча. Я перехватываю поводок на два витка короче. Лёд у бордюра, объясняю я себе, скользко.

— Так, — говорит он ещё с газона. — Вот она где.

Счёт мой обрывается где-то на сороковом шаге, и подбирать его некогда.

Вблизи ему лет сорок пять. Плотный, стрижен коротко, куртка расстёгнута на весь ноябрь. В правой руке ключи от машины, и ключи работают всё время, пока он говорит: оборот, ещё оборот.

— Это моя собака, — говорит он вместо здравствуйте.

— Здравствуйтесь, — говорю я.

— Ну да. — Он останавливается в двух шагах, ближе, чем встают незнакомые. — Мне позвонили. Сказали: жен-

щина из крайнего подъезда гуляет с моей собакой. Три недели ищу.

Логинов. Фамилия со столба, из объявления.

Балкон на четвёртом пуст. Штора задёрнута.

— Её сбила машина, — говорю я. — Двадцать шестого октября, у аптеки на остановке.

От нашего двора до той аптеки метров двести. Для трёх недель поисков дистанция скромная.

Здесь полагается вопрос. Что с ней, например. Ответ у меня собран заранее, по пунктам: перелом таза, схема уколов, снимки, могу по датам. И расходы, если дойдёт до расходов: чеки подколоты в папку, итог подведён карандашом, чтобы удобнее было дописывать. Вопрос не приходит.

— Живая же, — говорит он. — Они живучие.

Живучие. В первую ночь я каждый час проверяла ладонью, дышит ли она, и к утру рука выучила её ритм наизусть.

Он делает шаг к ней и прищёлкивает пальцами:

— Э. Ко мне.

Найда стоит. Ухо развёрнуто на его голос, голос она знает. С места она не сходит: дышит у моего колена.

— Ну ясно, — говорит он. — Набаловали.

— У неё перелом таза, — говорю я. — Уколы два раза в день, перевязки. В машину ей нельзя, это вам подтвердит любой врач.

— Слушайте. Вы мне про мою собаку не рассказывайте. Я бы и сам лечил. Ну всё: подлечили, дальше я сам.

— Чем она привита?

— Ну, ставили что-то. Всё ставили.

Собака жила у него четыре года. У меня она две недели, и у меня на неё четырнадцать строк на холодильнике.

Он кивает на поводок:

— Поводок ваш?

— Мой.

— Ошейник ваш?

— Мой.

— Ну вот. А собака моя. Забираю, и разошлись.

Полшага, и я стою между ним и собакой. Выходит само, как рука под падающую чашку.

— Как её зовут?

— Женщина. — Голос ровный, не злой; злиться тут, по его расписанию, не из-за чего. — Вы ей кто вообще?

— Никто.

Слово выходит гладкое. По бумагам всё так и есть. Поводок у меня в руке об этом не знает: рука уже выбрала его покороче и держит.

— Вот и я говорю, — кивает он. — Так что не усложняйте.

— Тогда по документам, — говорю я. — Документы на неё у вас есть?

— Найдутся. Чип у неё стоит, номер в объявлении висит. Всё оформлено, всё моё.

— Где у неё чип?

— Ну... Где ставят. В ухе. Э, какая разница: поднесут

штуку свою, номер совпадёт.

— Совпадёт, тогда и заберете, — говорю я. — В клинике, при враче. Она на лечении.

Найда, постояв, укладывается на асфальт у моей ноги: аккуратно, по-больничному, сначала передние, потом всё остальное. Он не смотрит.

Зато он проверяет время в телефоне и, раз телефон уже в руке, поднимает его и снимает: собаку, меня, подъезд с номером над козырьком. Я не отворачиваюсь. Пусть снимает: на снимке выйдет женщина с собакой на поводке, и попробуй разбери, чья это собака.

— Для документов, — говорит он.

Тогда я достаю свой телефон и снимаю его машину: арку, номер, белый пар из выхлопной. Тоже, стало быть, для документов. На экране, на пассажирском месте, кто-то есть: силуэт наклоняется, выпрямляется, ждёт. Почему он не уводит её прямо сейчас, силой, за ошейник: этого я не понимаю, и непонимание это хуже его напора. Выяснить я не стану.

Себя я слышу со стороны: голос ровный, порядок разумный, придраться не к чему. Только выстроен весь этот порядок вокруг одного: чтобы собаку не увели сегодня. И вот на это у меня права нет ни по одной бумаге. Есть поводок, купленный на вырост, расписание на холодильнике и свёрстаный декабрь. В графу «основание» такое не вписывают.

Он смотрит на арку, где всё это время дышит его машина: там у него идут свои счётчики. Потом на меня. На собаку он

за весь разговор посмотрел один раз, в самом начале, когда пересчитывал: поводок, ошейник, собака.

Вопрос у него был ко мне один: кто я ей. Что у неё сломано, чем её лечат, во что это встало: ничего из этого в его ведомости не значит. Слово у него одно, и он с него начал.

Пассажирская дверь машины приоткрывается и захлопывается: его торопят.

— Я приду с документами, — говорит он.

— Приходите, — говорю я. — Я тоже приду. С документами.

Глава 13. Папка

Список я составляю ночью, на кухне. Всё равно не сплю.

Виктор обещал прийти с документами. Что это будут за документы, я примерно представляю: родословная, ветпаспорт, если найдёт. Пусть приходит. Мои будут лучше.

К утру папка разложена по разделам: чеки, фотографии, схема уколов, выписка, заключение врача. Первый чек — восемнадцать тысяч четыреста — лежит сверху, как начало истории, которую я теперь должна доказать.

На отдельном листе я заготавливаю формулировки. Слова ложатся ровно, почти служебно, и от этого противно: Найда спит у батареи, а я уже превращаю её в дело.

Так готовятся к проверке. К утру на любой вопрос есть страница с номером. А что я чувствую, я не записываю: для этого графы нет.

Найда спит у батареи, во сне перебирает передними лапами. Из кухни мне виден её бок, и я сверяюсь с ним между строк, как сверяются с кассой.

Утром мы идём свои двести метров. Двести туда, двести обратно, шагом Найды это сорок минут. Раньше я считала бы это время потерянным. Теперь не считаю никак. У поворота она оглядывается: вчера отсюда пришёл Виктор. Я даю ей посмотреть и достаю телефон. Снимаю, как она идёт, как стоит, повязку крупно. Видео тоже снимаю, короткое: шаг,

повязка, дата в углу экрана. Она косится на телефон.

— Это для дела, — говорю я ей.

День расписан как обход: снимки, копии, клиника, папка. Если всё разложить по часам, страх становится работой.

В салоне на углу печатаю шесть фотографий и подписываю даты карандашом на обороте. Схему уколов снимаю с дверцы шкафа, копию переписываю на место. Уколы никто не отменял.

В клинику еду без собаки: ей туда пятнадцатого, на снимок, а мне сегодня.

За стойкой Лера прижимает плечом телефон клиники и свободной рукой кормит принтер бумагой. Выписка из карты занимает два листа.

— Ну всё, Татьяна Сергеевна. Если что, я свидетель.

Телефон у её уха что-то спрашивает, и она отвечает уже ему: да, глистогонное, да, натошак.

Андрей Петрович освобождается после четырёх. В смотровой он первым делом моет руки, хотя я ещё ни слова не сказала.

— Объявился владелец, — говорю я. — Требуется собака. Мне нужно заключение: когда поступила, в каком состоянии, кто лечил и кто ухаживал.

Он кивает и достаёт бланк.

Ручку он держит всеми пальцами, крепко, по-рабочему. На правом запястье белый шрам, кошачий; я знаю про него со второй перевязки и, оказывается, помню до сих пор, хотя

нигде не записывала.

Пишет он медленно, ровным врачебным почерком, сверяясь с картой: даты, снимки, назначения, перевязки. Я стою у стола и смотрю, как эти шестнадцать дней, со всеми их ночами и пересчитанными ампулами, превращаются в четыре спокойных абзаца, где всё сделано вовремя.

Я достаю свой ночной лист.

— И ещё. Напишите, что владелец собакой не занимался. Четыре года ни одной записи, ни одной прививки. И что возвращать её в такие руки опасно.

Ручка останавливается.

— В карте записей нет. Это напишу. — Он не поднимает головы. — Чем он занимался, я не видел.

— Он придёт с голосом. Может, с участковым. Против голоса нужна формулировка пожёстче. Это же правда.

— Может, и правда. — Вот теперь поднимает. — Я напишу, что было и что есть. Не больше.

Голос тише обычного. Эту его арифметику я уже выучила: чем тише, тем твёрже. Мой лист с формулировками лежит на краю стола, и он на него даже не смотрит.

— Хорошо, — говорю я и убираю лист в сумку.

Он дописывает молча. Ручка скрипит; за стеной Лера смеётся в телефон. Пауза тянется дольше, чем положено двоим в рабочем кабинете, и никто из нас её не закрывает.

Потом он ставит подпись, прикладывает печать и отдаёт мне заключение вместе с выпиской.

До выхода он меня провожает. Дверь в клинике тяжёлая, на тугой пружине, я с ней знакома плечом. Он дотягивается первым и держит створку сверху, над моей головой. Рука висит над моим плечом, близко; от рукава пахнет спиртом и ещё чем-то тёплым, вроде хлеба. Я прохожу боком, хотя места хватает. Два шага получаются на одном вдохе.

— Пятнадцатого снимок, — говорит он мне в спину.

— Я помню, — говорю я. Голос выходит на полтона выше рабочего.

На улице холодно. Щекам это кстати.

В автобусе разворачиваю заключение. Поступила двадцать шестого октября, доставлена частным лицом. Перелом, трещина, разрыв связки. Лечение по схеме, динамика положительная. Оплату лечения производит Ковалёва Т. С. Уход осуществляет Ковалёва Т. С. На процедуры являлась без пропусков.

Формулировок, которые я просила, здесь нет ни одной. Перечитываю: они и не нужны. Даты стоят одна к одной, плотно, как кладка. А врач, который написал бы под мою диктовку, написал бы и под чужую.

Моя фамилия в бумаге три раза. Считаю я это машинально, как всё считаю. Потом пересчитываю, уже не машинально. Щекам опять тепло, теперь безо всякой улицы.

До дома оба листа едут у меня на коленях, в файле, ладонью сверху; из файла они бы никуда не делись, но ладони так спокойнее.

Вечером собираю папку. Опись сверху, дальше чеки, выписка, заключение, схема уколов с отметками, фотографии, номер чипа и телефон клиники. Одиннадцать бумаг. Все про одно: с этой собакой я была каждый день.

Найда приходит из комнаты, цокает когтями по линолеуму, встаёт у стола и кладёт нос мне на колено. Нос тёплый, к делу не относится.

— Сейчас, — говорю я и дописываю номер страницы.

Сейчас растягивается. Когда я поднимаю голову, за окном темно по-настоящему, а она спит у батареи, не дождалась. Гулять мы сегодня ходили один раз, утром. Остальное время я подшивала её в папку.

Опись переписываю начисто. Внизу положена строка: кому передано. Держу над ней ручку и не знаю, что писать. Виктору папка не нужна, Найде тем более. Значит, она собрана тому, кто однажды скажет: не имела права.

На обороте описи пишу себе: отвечать только на слова. Против крика страницы у меня всё равно нет.

Звонит Максим, по-своему, короткими очередями. Беру на втором гудке, рука сама.

— Ну что, мам, подумала?

— Хозяин объявился, — говорю я. — Требуется вернуть. Я собрала документы.

В трубке пауза и звяканье: ключи он ищет даже дома.

— Он тебе угрожал?

— Разговаривал громко.

Максим говорит: «Мам, ты влезла в чужую проблему».

Я смотрю на папку. Всю жизнь я вела чужие бумаги. Своих у меня нет ни одной.

Глава 14. Снимок

Пятнадцатое ноября, пятница. Я знаю это точно, потому что считаю от аварии: двадцать шестое октября, суббота, шестой час вечера. С тех пор у меня всё считается от неё.

Снимок назначен на сегодня. К нему я готовлюсь, как к сдаче отчёта. Найда ходит по квартире сама, ест сама, поднимается на диван без моей помощи. Что это когда-то обсуждалось, она не помнит, а я не напоминаю. Швы сняли на двенадцатый день, как он и написал в моей таблице. Второй вариант сработал. Я перечитывала эту строку, когда снимали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.